

18+

**АННА
ВЕРСКАЯ**

**ВДОВА
ДЕЛО УБИЙСТВО В ТЕАТРЕ
ДЕЛО СМЕРТЬ СТАРОГО
ФОТОГРАФА**



Анна Верская

**Вдова. Дело «Убийство
в театре». Дело «Смерть
старого фотографа».**

«Издательские решения»

Верская А.

Вдова. Дело «Убийство в театре». Дело «Смерть старого фотографа». / А. Верская — «Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Москва, 1870-е. Аглая Корелина, вдова и сыщица, расследует два преступления: отравление актёра на сцене Малого театра и смерть фотографа, который случайно воскресил прошлое. В театре у каждого была маска, в фотоателье — тень, а разгадка ближе, чем кажется.

© Верская А.

© Издательские решения

Содержание

Дело Смерть в театре	6
Глава первая	7
Глава вторая	13
Глава третья	18
Глава четвёртая	23
Глава пятая	27
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Вдова. Дело «Убийство в театре». Дело «Смерть старого фотографа».

Анна Верская

Обложка https://chatgpt.com/s/m_6a20d169508c819190f2f0a239a20a7b

© Анна Верская, 2026

ISBN 978-5-0070-5723-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Дело Смерть в театре

Глава первая

Октябрь в Москве стоял такой, что даже многоопытные извозчики качали головами: восьмой день без дождя, сухо, солнечно, а по утрам на лужах хрустел ледок. В Малом театре готовились к открытию сезона, и город гудел. Премьера «Горя от ума» с Вельяминовым-Зерновым в роли Чацкого обещала стать событием — билеты расхватали за три дня, барышни переписывали монологи в альбомы, а критики заранее точили перья.

Аглая Матвеевна Корелина театры не любила.

Она не говорила этого вслух — при её положении и круге знакомств такое признание сочли бы чудачеством, — но всякий раз, поднимаясь по лестнице к ложам, чувствовала глухое раздражение. Слишком много бархата. Слишком много духов. Слишком много людей, которые пришли не слушать, а показывать себя. Театр был местом, где все играли: актёры на сцене, зрители в ложах, капельдинеры в проходах. Играли даже свечи в люстрах — они мерцали так старательно, будто тоже участвовали в представлении.

— Tante Aglae, вы опять хмуритесь! — Сонечка Ланская, сиявшая рядом в новой шляпке с перьями, легонько толкнула её веером. — Ещё занавес не подняли, а вы уже как на допросе.

— Я не хмурюсь. Я думаю.

— О чём?

— О том, сколько человек в этом зале могли бы сознаться в преступлении, если бы на них как следует посмотреть.

Сонечка прыснула.

— Вы невозможны. Кругом праздник, а вы о преступлениях.

Дмитрий, сидевший позади, чуть заметно улыбнулся. После истории в Отрадном он стал реже спорить с Аглаей и больше смотреть на неё тем особенным взглядом, в котором читалось: «Я знаю, что ты всё равно сделаешь по-своему, но я рядом». Сегодня он был в штатском сюртуке, при галстукке, и выглядел почти светским человеком — почти, потому что военная выправка и шрам на скуле всё равно выдавали в нём человека иной биографии.

Ложа была хорошая — бенуар, левая сторона, откуда отлично видно сцену и половину зала. Аглая Матвеевна обвела глазами публику. В первом ряду кресел сидел антрепренёр Сабуров, толстый господин с лицом обиженного младенца. Рядом — московский обер-полицмейстер с супругой, похожей на фарфоровую куклу. Чуть дальше — молодой человек с бледным, дёрганным лицом, который то и дело оглядывался на входную дверь. В бельэтаже, в крайней ложе, сидели три дамы — все в чёрном, все с одинаково напряжёнными спинами. Аглая Матвеевна заметила их сразу.

— Кто это? — спросила она, чуть кивнув в ту сторону.

Сонечка прищурилась.

— В крайней ложе? Ах, это... Кажется, первая жена Вельяминова-Зернова. Аделаида... забыла отчество. А с ней, говорят, вторая жена. Или третья? Я путаюсь. У него их было три.

— Три жены, — задумчиво повторила Аглая Матвеевна. — И все три на премьере. Интересно.

— Ничего интересного, — фыркнула Сонечка. — Говорят, он со всеми расстался дурно. Первую бросил с ребёнком, второй изменил с третьей, а третья... Впрочем, он и третьей, кажется, уже изменил. С какой-то актрисой из своей же труппы. Он вообще человек страстный.

— Страстный, — повторила Аглая Матвеевна, запоминая.

Свет начал гаснуть. Шум в зале стихал, как вода в воронке. Занавес дрогнул.

Александр Вельяминов-Зернов появился на сцене не сразу. Первые сцены прошли без него — Фамусов, Софья, Молчалин, — и зал принимал их сдержанно, как принимают закуски перед главным блюдом. Но когда в глубине сцены распахнулась дверь и Чацкий шагнул в гостиную, по рядам пробежал тот особый шорох, который бывает только перед выходом любимца.

Он был хорош. Этого Аглая Матвеевна не могла не признать. Высокий, гибкий, с лицом, которое казалось созданным для сцены — крупные черты, выразительные глаза, рот, способный складываться и в саркастическую усмешку, и в трагическую складку. Двигался он легко, как танцор, и говорил тем особенным голосом, который долетает до последнего ряда без видимого усилия. Зал замер. Зал дышал вместе с ним.

— А кто эта дама в третьей ложе справа? — тихо спросила Аглая Матвеевна.

Сонечка оторвалась от сцены.

— Где? А, это... По-моему, Элен. Третья жена. Француженка. Очень хороша собой, видите?

Аглая Матвеевна видела. Дама в третьей ложе была не просто хороша — она была из тех женщин, чья красота кажется оружием. Тёмные волосы, убранные в низкий узел, бледное лицо, огромные глаза. Она не смотрела на сцену. Она смотрела на актёра — и в её взгляде было что-то такое, от чего Аглая Матвеевна нахмурилась.

— Она его любит? — спросила она.

— Говорят, обожает. Хотя он ей изменяет. С Варей, молодой актрисой. Вон она, в масковке, горничную играет.

Аглая Матвеевна перевела взгляд на сцену. Варя — совсем юная, светловолосая, с кукольным личиком — как раз подавала реплику и смотрела на Вельяминова-Зернова с тем выражением, которое не спутаешь ни с каким другим. Так смотрят на кумира. Или на любовника.

Акт тянулся своим чередом. Чацкий метался по сцене, произносил монологи, обличал, страдал. Зал внимал. Аглая Матвеевна заметила, что Вельяминов-Зернов играет сегодня с каким-то особым надрывом — будто не играет вовсе, а проживает. К концу третьего акта он выглядел бледным, и она заметила, как он промокнул лоб платком, когда отходил в тень. Возможно, простуда. Возможно, волнение.

Начался финальный акт.

Чацкий произнёс последний монолог — тот самый, про «карету мне, карету», — и зал взорвался. Аплодисменты гремели, как гроза. Вельяминов-Зернов стоял посреди сцены, опустив голову, и публика ждала, что он сейчас поклонится. Он не кланялся.

— Что он делает? — прошептала Сонечка. — Почему не кланяется?

Он покачнулся. Чуть-чуть, почти незаметно. Потом качнулся сильнее. Прижал руку к груди. И рухнул.

Зал ахнул — и тут же разразился новым шквалом аплодисментов. Публика решила, что это часть игры. Сейчас он встанет. Сейчас улыбнётся. Сейчас...

Аглая Матвеевна встала. Дмитрий, сидевший позади, тоже поднялся.

— Аглая, что?

— Он не играет, — сказала она. — Смотри на лицо.

Лицо Вельяминова-Зернова исказилось — рот раскрылся, глаза закатились, на губах выступила пена. Партнёры по сцене, ещё не понимавшие, что происходит, попятились. Кто-то из зрителей крикнул: «Доктора!» — и крик этот потонул в нарастающем шуме.

Занавес дрогнул, но не опустился — кто-то из рабочих сцены замешкался. Аглая Матвеевна видела, как к упавшему бросился Ленский, актёр, игравший Молчалина, — он встал на колени, схватил Вельяминова-Зернова за руку.

— Он не дышит! Он мёртв!

В зале началась паника. Дамы вскакивали, кавалеры пробирались к выходам, где-то звенело разбитое стекло. Аделаида, первая жена, застыла в своей ложе, прижав платок к губам. Марья, вторая, закрыла лицо руками. Элен, третья, сидела неподвижно — только пальцы её, сжимавшие веер, побелели.

Аглая Матвеевна обернулась к Дмитрию.

— Оставайся с Сонечкой. Я — за кулисы.

— Аглая!

— Полиция приедет через полчаса, — бросила она, уже выходя. — За полчаса можно многое найти. Или многое спрятать.

Служебный коридор пах пылью, канифолью и чем-то ещё — едким, химическим, что всегда витает в театральных недрах. За кулисами царил хаос: полуодетые статисты жались к стенам, актёры спорили вполголоса, антрепренёр Сабуров рвал на себе воротничок и повторял: «Сезон сорван! Сезон сорван!» Никто не обратил внимания на женщину в сером платье, которая быстро прошла мимо, лавируя между ящиками с бутафорией.

Аглая Матвеевна подошла к телу. Опустилась рядом — юбка тотчас намокла, впитав пролитый грим и воду, — и склонилась над актёром. Лицо Вельяминова-Зернова было страшным: рот перекошен, на губах запеклась белая пена, кожа приобрела синюшный оттенок, зрачки расширены так, что почти вытеснили радужку. Аглая Матвеевна осторожно приподняла его веко — под ним лопнули сосуды. Она принялась. Никакого отчётливого запаха, только едва уловимый, сладковатый, напоминающий миндаль. Мышьяк. Или что-то из опиатов. Она видела такие лица раньше.

Рядом с телом валялся платок — тонкий, батистовый, с вышитым в углу вензелем «А. В.-З.». Она подняла его, поднесла к свету. На платке не было следов пены, только пятна пота. Он не вытирал рот. Он просто уронил его, когда падал.

Аглая Матвеевна встала. Она не стала ждать полицию — у неё были свои резоны. Если яд был нанесён на кожу с гримом или попал в питьё, улики могут исчезнуть до приезда властей. Она направилась в гримёрку.

Дверь с табличкой «А. В.-Зерновъ» была приоткрыта. Аглая Матвеевна толкнула створку и вошла.

Гримёрка была небольшой, но обставленной с претензией на комфорт. Большое зеркало в резной раме — потускневшее, в мелких трещинах, — перед ним столик, заставленный баночками, кистями, пуховками. По краям зеркала заткнуты пожелтевшие афиши и записочки от поклонниц. На стене висел портрет государя в золочёной раме, а под ним — выдавшая виды кушетка, обитая потёртым бархатом, на которую кто-то бросил небрежно скомканный сценический плащ. В углу — вешалка с костюмами, от которых пахло нафталином и потом. На полу, у столика, валялась смятая программа вчерашнего спектакля.

Пахло здесь странно: смесью табака, духов, пудры и того самого едкого запаха, что витал в коридоре. Аглая Матвеевна знала этот запах. Она задержала дыхание, принялась. Мышьяк. Слабый, но безошибочный.

Она медленно обвела глазами столик. Баночки. Кисти. Пуховки. Открытая пудреница. И — баночка с белилами. Крышка была снята, внутри — белёсая масса. Рядом лежала кисть — ещё влажная, со следами белил. Аглая Матвеевна наклонилась, не прикасаясь. Цвет у белил был не совсем ровный — по поверхности шли сероватые разводы, будто кто-то размешал порошок, но не до конца. Она заметила крошечные кристаллы, поблёскивающие в полумраке. Мышьяк часто добавляют в белила — он придаёт коже фарфоровую бледность, — но обычно тщательно растирают. Здесь же кристаллы были крупнее, чем следует, и распределены неравномерно.

Она выпрямилась и осмотрела комнату дальше. На краю столика лежала записка — торопливая, написанная женским почерком: «Не забудь, после спектакля жду у служебного.

Твоя В.». Варя. Молодая актриса. Рядом — другая, старая, пожелтевшая, с надписью от руки: «Моему Чацкому. На память. Э.». Элен. Третья жена.

Аглая Матвеевна не стала трогать ни записки, ни баночку. Она лишь запомнила их расположение. Потом опустила руку на корточках и осмотрела пол. Под столиком, в тени, что-то блестело. Она протянула руку и вытащила маленький флакон из тёмного стекла, заткнутый пробкой. Флакон был пуст, но на стенках остался белёсый налёт. Она поднесла его к носу — тот же сладковатый запах. Мышьяк.

Аглая Матвеевна спрятала флакон в карман платья и вышла из гримёрки так же бесшумно, как вошла.

В опустевшем зале горели только дежурные свечи, и бархат кресел казался чёрным, как крылья воронов. Дмитрий и Сонечка ждали её в ложе.

— Ну что? — спросила Сонечка шёпотом.

— Его отравили, — ответила Аглая Матвеевна. — Яд был в белилах. Или, по крайней мере, кто-то очень хотел, чтобы он там оказался.

— Вы уверены?

— Я нашла флакон. И видела баночку. Но пусть полиция делает свою работу. Завтра утром начнётся расследование. А пока — никому ни слова.

— Но кто? — прошептала Сонечка.

— Пока не знаю. Три бывшие жены, ревнивый соперник, обманутая любовница, антрепренёр, с которым он судился. И это только те, о ком я знаю.

— Господи, — прошептала Сонечка. — Прямо как в романе.

— В романах убивают красиво, — сухо заметила Аглая Матвеевна. — А в жизни — пеной на губах и синим лицом.

Она встала, взяла муфту.

— Едем домой. Завтра утром я начну расследование. У тебя есть выход на костюмершу? — спросила она у Сонечки.

— Глафира Ильинична. Да, я знакома. Прислать её к вам?

— Пришли. И ещё: узнай всё, что сможешь, о Вельяминове-Зернове. О его жёнах, о долгах, о скандалах. Мне нужно знать, кому он перешёл дорогу.

— Всем, — пожала плечами Сонечка. — Он был актёр. Актёры всегда всем переходят дорогу.

Аглая Матвеевна не ответила. Она уже думала о трёх женщинах в чёрном, которые сидели в крайней ложе и не сводили глаз со сцены. Одна из них, возможно, только что видела, как сбылось её самое заветное желание. Или самое страшное проклятие.

Когда они вышли на Театральную площадь, октябрьский ветер швырнул в лицо пригоршню сухих листьев. Где-то далеко, у Кремля, били часы. Москва ещё не знала, что сегодняшней премьерой открылся не только театральный сезон, но и одно из самых громких дел, которое распутает Аглая Корелина.

Глава вторая

Утро после премьеры выдалось серым и ветреным. Москва, ещё вчера сиявшая театральными огнями, сегодня съёжилась под низким небом, и первые заморозки рисовали на лужах белёсые узоры. Аглая Матвеевна сидела у окна с чашкой чая и недоеденным кренделем, когда в дверь позвонили. Глафира, ворча что-то про «неугомонных, которым неймётся ни свет ни заря», пошла открывать и вернулась с запиской.

Записка была от Сонечки. Почерк прыгал, как испуганная птица: «Полиция нашла мышьяк в белилах. Допрашивают всех. Приезжайте скорее. Ваша С.»

— Глаша, — сказала Аглая Матвеевна, откладывая недопитый чай, — подавай шубу.

— Куда ж вы, барыня? Вы же сказали — утром отдохнём.

— Я ошиблась. У убийцы отдыха не бывает. И у тех, кто его ищет, тоже.

В Малом театре было непривычно тихо. Вчерашний блеск и шум сменились гулкой пустотой. В фойе, где ещё накануне толпились нарядные дамы, теперь сидели на стульях актёры — хмурые, невыспавшиеся, с воспалёнными глазами. Ленский нервно курил у окна, стряхивая пепел прямо на паркет. Варя, молоденькая актриса, плакала в углу, уткнувшись в плечо костюмерши — той самой Глафиры Ильиничны, которую Сонечка обещала прислать. Антрепренёр Сабуров мерил шагами вестибюль, и его живот колыхался в такт шагам. Три бывшие жены сидели в разных концах — Аделаида с каменным лицом, Марья с заплаканным, Элен с непроницаемым.

В центре этого хаоса, как скала в бурном море, возвышался пристав Никифоров — пожилой, грузный, с обвислыми усами и внимательными, не по-полицейски умными глазами. Он говорил мало, больше слушал, и его карандаш неторопливо скрипел по бумаге.

При виде Аглаи Матвеевны он поднялся и поклонился.

— Аглая Матвеевна Корелина, если не ошибаюсь? — Голос у него оказался низким, с хрипотцой. — Иван Петрович Зарубин предупреждал, что вы можете появиться. Прошу, присаживайтесь. Вы вчера были здесь?

— Была. В ложе. И за кулисами. — Она опустилась на предложенный стул. — Я осмотрела тело и заходила в гримёрку.

Никифоров поднял бровь.

— До полиции?

— До полиции. И не зря. Там была открытая баночка с белилами, а на полу — пустой флакон из-под мышьяка. — Она достала из муфты флакон и протянула приставу. — Я забрала его, чтобы никто не уничтожил улику.

Никифоров повертел флакон в пальцах, понюхал и кивнул.

— Благодарю. Вы сэкономили нам время. — Он сделал пометку в блокноте и повернулся к сидящим. — Итак, господа, экспертиза подтвердила: Александр Вельяминов-Зернов отравлен. Мышьяк был подсыпан в белила, которыми он пользовался перед выходом в финальном акте. Смерть наступила быстро — яд проник через кожу лица. Теперь я хочу услышать от каждого из вас, где вы были вчера между третьим и четвёртым актами. Антракт длился двадцать минут — достаточно, чтобы зайти в гримёрку.

Первой заговорила Аделаида. Она сидела прямо, как на троне, и голос её звенел холодом:

— Я была в ложе. Не выходила. Со мной были Марья и Элен. Мы сидели вместе — по случайности, уверяю вас. Каждая купила билет отдельно. Мы не разговаривали. Просто сидели и смотрели.

— Всё верно, — подтвердила Марья, всхлипнув. — Мы не выходили. Я... я хотела подойти к Саше после спектакля, но не в антракте. Зачем? Чтобы снова слушать его оскорбления?

— Оскорбления? — переспросила Аглая Матвеевна. — Он вас оскорблял?

Марья опустила глаза.

— Он сказал, что я бездарна. Что моя игра — позор для сцены. Мы расстались из-за этого. Он не терпел соперников. Даже во мне. Даже когда я была его женой.

Элен, сидевшая у окна, не проронила ни слова. Она смотрела в одну точку — на пустую сцену, видневшуюся сквозь приоткрытую дверь. Никифоров обратился к ней:

— А вы, Элен... простите, как по отчеству?

— Просто Элен, — ответила она с лёгким акцентом. — Я тоже была в ложе. Вместе с ними. И я тоже не выходила.

— Вы подтверждаете слова Аделаиды и Марьи?

— Подтверждаю.

Аглая Матвеевна заметила, как пальцы Элен сжали веер. Тот самый, что вчера побелел в её руке. Сегодня веер был цел, но сломан — одна пластина отсутствовала.

Следующим опрашивали Ленского. Он нервно затушил папиросу и повернулся к приставу.

— Я был на сцене. Репетировал монолог. У меня нет гримёрки — я гримируюсь в общей. В антракте я выходил покурить на служебное крыльцо. Меня видел сторож.

— Кто-нибудь ещё может подтвердить?

— Сторож. И, кажется, Варя. Она тоже там была. Плакала.

Варя вздрогнула, услышав своё имя.

— Да, я плакала, — сказала она, и голос её дрожал. — Александр Ильич обещал мне главную роль в «Ревизоре». А вчера сказал, что передумал. Что я слишком молода. Что он отдаст роль Марье. — Она бросила быстрый взгляд на вторую жену. — Я вышла на крыльцо, потому что не хотела, чтобы кто-то видел мои слёзы.

— И вы никуда не заходили? — спросил Никифоров.

— Нет. Только на крыльцо.

— Кто-нибудь ещё был в коридоре у гримёрок?

Повисла пауза. Потом подала голос костюмерша — Глафира Ильинична, полная женщина с усталым лицом и красными от работы руками.

— Я была, — сказала она. — Я заходила к Александру Ильичу в гримёрку. В самом начале антракта. Поправить пуговицу на сюртуке. Он как раз гримировался — сидел перед зеркалом с открытой баночкой белил. Я спросила, не нужно ли чего. Он сказал: «Ничего, Глаша, иди». И я ушла. Больше никто не заходил.

— Вы уверены? — спросила Аглая Матвеевна.

Костюмерша замаялась.

— Почти. Я была в костюмерной, это рядом. Дверь туда открыта. Я бы слышала шаги.

— Но вы не слышали?

— Нет. Но я могла отвлечься. Там столько всего...

Никифоров допросил Сабурова. Антрепренёр всплеснул руками:

— Я был в конторе! Считал кассу! Премьера, знаете ли, сборы... Каждая копейка на счету. Меня видел бухгалтер и два билетёра.

— А вы, часом, не ссорились с покойным? — прищурился пристав.

Сабуров побагровел.

— Ссорился! Он требовал увеличить гонорар! Грозился уйти к Коршу! Но чтобы убивать... Зачем мне убивать курицу, которая несёт золотые яйца?

Когда опрос закончился, Аглая Матвеевна подошла к Никифорову.

— Что вы думаете? — спросила она негромко.

Пристав вздохнул, поглаживая ус.

— Думаю, что у каждого есть мотив. Первая жена — месть за брошенную жизнь. Вторая — за унижение. Третья — за измену. Любовница — за обманутые надежды. Соперник — за роль. Антрепренёр — за финансовые претензии. Даже костюмерша — кто знает, может, и у неё был свой резон. Кругом мотивы, Аглая Матвеевна. А вот алиби... алиби ни у кого нет. Все были рядом. Все могли зайти.

— Кроме одного, — тихо сказала Аглая Матвеевна.

— Кого же?

— Того, кто выходил из ложи. Три женщины сидели вместе, но кто подтвердит, что они не отлучались поодиночке? Они подтверждают друг друга — а это не алиби.

Никифоров помолчал, потом кивнул.

— Вы правы. Я проверю. И ещё раз благодарю за флакон. Без вас мы бы его не нашли.

— Не благодарите, — ответила Аглая Матвеевна. — Я хочу найти убийцу. И я найду.

Она отошла к окну, где всё ещё стояла Элен. Француженка по-прежнему смотрела на сцену. Аглая Матвеевна задержалась рядом.

— Вы не плакали, — сказала она вполголоса. — Ни вчера, ни сегодня.

Элен не обернулась.

— Слёзы — для зрителей. Я не зритель. Я была его женой.

— И вы его любили?

— Любила. — Элен наконец повернулась, и Аглая Матвеевна увидела в её глазах нечто, от чего ей стало не по себе. Это была не скорбь. Это была пустота. — Но любить актёра — всё равно что любить ветер. Сегодня он дует в твою сторону, завтра — в чужую. Я устала от ветра.

Она отошла, не попрощавшись. Аглая Матвеевна проводила её взглядом и подумала, что среди всех подозреваемых эта женщина — самая опасная. Потому что у неё нет алиби. Потому что она не плачет. И потому что она знает то, чего не говорят вслух.

Вечером, дома, Аглая Матвеевна разложила на столе свои записи. Против каждого имени — мотив, возможность, странности. Глафира, подавая чай, заглянула через плечо.

— Ну что, барыня, кто из них?

— Пока не знаю. Но завтра я снова пойду в театр. И поговорю с костюмершей. Она что-то недоговаривает.

— Почему вы так думаете?

— Потому что она сказала: «Больше никто не заходил». Но флакон, который я нашла, лежал под столиком. Его не было там до антракта — иначе она бы заметила, когда поправляла пуговицу. Значит, кто-то заходил после неё. И этот кто-то знал, куда именно положить флакон.

Глафира перекрестилась.

— Ох, чует моё сердце, барыня, это дело будет почище тех, прежних.

— Будет, — согласилась Аглая Матвеевна. — Потому что здесь каждый играет роль. И убийца — лучший актёр из всех.

Глава третья

Утро началось с того, что Глафира разбила чашку.

Не какую-нибудь простую, из трактирного сервиза, а мейсенскую, с синим луком, — последнюю из приданого, которую Аглая Матвеевна берегла как память. Чашка выскользнула из рук, ударилась о край подноса и разлетелась на три неровных осколка.

— Ох, барыня, простите Христа ради! — Глафира всплеснула руками. — Сама не знаю, как вышло.

Аглая Матвеевна посмотрела на осколки. Три куска. Три жены. Три судьбы, разбитые одним мужчиной.

— Не причитай, — сказала она. — Это всего лишь чашка. А вот три женщины, которых бросил Вельяминов-Зернов, — они не склеятся. Одевайся, Глаша. Сегодня у нас три визита.

Первый визит был к Аделаиде — первой жене, матери единственного сына покойного. Она жила в небольшом доме у Пресненских прудов — тихий район, где селились небогатые дворяне и отставные чиновники. Дом был деревянным, крашённым в бледно-зелёный цвет, но краска давно облупилась, а ставни висели криво. Зато палисадник перед домом содержался в порядке: подмёрзшие астры, куст рябины с алыми ягодами, посыпанная песком дорожка. Рука одинокой женщины, подумала Аглая Матвеевна. За домом следит, за собой — уже нет.

Открыла сама Аделаида — высокая, худая, в тёмном платье с глухим воротом. Ей было, наверное, лет сорок пять, но выглядела она старше: седина на висках, глубокие складки у рта, глаза, выцветшие от многолетней усталости. Она не удивилась, увидев гостью. Только постояла, пропуская в прихожую.

Внутри было чисто, но бедно. Старая мебель, вытертые ковры, на стенах — дешёвые гравюры. В углу гостиной стояло пианино с пожелтевшими клавишами. На пианино — раскрытые ноты: «Лунная соната». На пюпитре лежала засушенная роза.

— Вы играете? — спросила Аглая Матвеевна, садясь.

— Сын играет, — ответила Аделаида. — Николай. Он у меня музыкант. Пошёл не в отца, слава Богу. Отец его... — Она запнулась. — Впрочем, вы не за этим пришли.

— Я пришла поговорить о вашем бывшем муже. Вы были на премьере.

— Была. — Аделаида села напротив, сложила руки на коленях. — Я всегда ходила на его премьеры. Все двадцать лет. Он не знал. Я покупала билет на галёрку — чтобы не видел. Мне нужно было... видеть его. Хотя бы издалека.

— Вы его любили?

Аделаида усмехнулась — сухо, недобро.

— Любила. Когда-то. Он был красив, талантлив, говорил такие слова, что голова кружилась. Я была молода, глупа, верила. Потом родился Николенька. А он ушёл. Сказал: «Ты скучная. Ты не понимаешь моего искусства». И ушёл к Марье. Она была актрисой. Она понимала.

— Вы ненавидели его?

— Нет. — Аделаида подняла глаза, и Аглая Матвеевна увидела в них не ненависть, а что-то другое. — Я ненавидела себя. За то, что всё ещё люблю. За то, что хожу на его премьеры. За то, что плачу по ночам. Он сломал мою жизнь, а я не смогла разлюбить. Это хуже ненависти, Аглая Матвеевна. Ненависть хотя бы согревает.

— Ваш сын знал отца?

— Знал. И презирал. Он вырос без него. Видел, как я плачу. Он... — Аделаида запнулась. — У него есть мотив, я знаю. Но он не убивал. Он не мог.

— Где он был в вечер премьеры?

— Здесь. Дома. Играл на пианино. Я вернулась из театра — он сидел за инструментом. Соседи слышали. Всю ночь играл «Лунную сонату». Говорят, даже когда я пришла, не сразу перестал.

Аглая Матвеевна запомнила это. Соседи, пианино, «Лунная соната». Алиби или красивая ложь?

Второй визит был к Марье.

Она жила в мансарде на Тверской, над модным магазином дамских шляпок. Лестница была крутой, тёмной, пахла кошками и жареным луком. Но сама мансарда оказалась светлой и уютной — окна во всю стену, на подоконниках герань, на стенах афиши. Марья встретила гостью в пёстром халате, с распущенными волосами, и сразу было видно: эта женщина никогда не станет жить в доме с облупившейся краской.

— Вы из полиции? — спросила она с порога.

— Я частное лицо, — ответила Аглая Матвеевна. — Расследую смерть вашего бывшего мужа.

— Бывшего, — повторила Марья с горечью. — Он был моим мужем три года. А до того — любовником. Я думала, он бросит Аделаиду и женится на мне. Он бросил. Женился. А потом появилась Элен. — Она закурила папиросу, не спросив разрешения. — Француженка. Молодая. С деньгами. Он ушёл к ней.

— Вы ненавидели его?

— Я ненавидела её, — отрезала Марья. — За то, что она отняла его у меня. Его я понимала. Он был как ребёнок — хватал то, что блестит. А она... она знала, на ком женится. И ей было всё равно.

— Где вы были в антракте премьеры?

— В ложе. Сидела как приклеенная. Аделаида подтвердит.

— А после спектакля?

Марья затянулась, выпустила дым.

— После спектакля я вышла на служебное крыльцо. Хотела дожждаться его. Сказать... не знаю. Просто увидеть. Но он не вышел. Потому что был уже мёртв.

— Кто-нибудь видел вас там?

— Да. Сторож. И Ленский. Он стоял и курил. Мы даже перекинулись парой слов.

— О чём?

— О ролях. О том, что Саша всем надоел. Что трупка его ненавидит. — Она криво усмехнулась. — Театр, Аглая Матвеевна. У нас все ненавидят всех. Это нормально.

Третий визит был к Элен.

Она жила в гостинице «Метрополь» — лучшей в Москве. Номер был просторным, обставленным с парижским шиком: золочёная мебель, бархатные портьеры, на туалетном столике — дюжина флаконов. Элен приняла гостью в чёрном шёлковом платье, с жемчужной ниткой на шее. Она была бледна, но спокойна — то спокойствие, которое даётся либо полной невинностью, либо полным самообладанием.

— Вы хорошо говорите по-русски, — заметила Аглая Матвеевна, садясь.

— Я живу в России пять лет. Мой первый муж был русским. Он умер.

— И вы вышли за Вельяминова-Зернова.

— Да. Александр был... — она запнулась, подбирая слово, — ураган. Он врвался в комнату и переворачивал всё. Я любила его. Но ураган трудно любить долго. Он выматывает.

— Он изменял вам.

— Конечно. — Элен усмехнулась — печально, беззлобно. — Он изменял всем. Это была его натура. Я знала, на что шла.

— И вас это не задевало?

— Задевало. Но я не убиваю из-за измен. — Она посмотрела Аглае Матвеевне прямо в глаза. — Я вообще никого не убиваю. У меня нет этого... как по-русски? Пороху?

— Пороха, — машинально поправила Аглая Матвеевна.

— Да. Пороха.

Аглая Матвеевна обвела глазами номер. На туалетном столике, среди флаконов, лежал веер — тот самый, с которым Элен была на премьере. Одна пластина отсутствовала.

— Что с вашим веером? — спросила она.

Элен перевела взгляд.

— Сломала. Вчера. Когда он упал. Я сжала его слишком сильно.

— Можно взглянуть?

Элен протянула веер. Аглая Матвеевна осмотрела его. Отсутствующая пластина была сломана не пополам — она отсутствовала целиком, будто её вынули.

— Где сломавшаяся часть?

— Не знаю. Должно быть, выпала в театре. Я не заметила.

Аглая Матвеевна вернула веер и встала. Прощаясь, она спросила:

— Вы не боитесь оставаться одна? В этом номере?

Элен улыбнулась — впервые за весь разговор.

— Я ничего не боюсь, Аглая Матвеевна. Я француженка.

Вечером, в Сытинском тупике, Аглая Матвеевна сидела над блокнотом. Глафира, подав чай, заглянула через плечо.

— Ну что, барыня, узнали что-нибудь?

— Узнала, — ответила Аглая Матвеевна. — Первая жена его любит до сих пор. Вторая ненавидит не его — его третью жену. Третья говорит, что не убивает, потому что у неё нет пороха. И у каждой — мотив.

— Так кто же?

— Пока не знаю. Но сын первой жены всю ночь играл «Лунную сонату». А третья жена сломала веер — да так, что одна пластина исчезла. Пластина от веера — острая. Ею можно вскрыть флакон. Или замок.

Глафира перекрестилась.

— А вторая?

— Вторая — актриса. Она играет даже сейчас. И я не знаю, где проходит граница между её ролью и правдой.

Аглая Матвеевна закрыла блокнот и подошла к окну. За стеклом падал первый снег — редкий, октябрьский, ещё не зимний.

Завтра она поговорит с сыном Аделаиды. И с костюмершей. И снова с Ленским.

Глава четвёртая

Прошло три дня после убийства, а Москва уже начала забывать о трагедии в Малом театре. Газеты переключились на новый скандал — подлог векселей в Купеческом собрании, — и только в театральных кругах ещё шептались о том, кто мог отравить любимца публики. Впрочем, шептались негромко: пристав Никифоров дал понять, что дело не закрыто, и каждый из труппы знал — подозрение всё ещё висит над ними.

Аглая Матвеевна тем временем работала. Она не любила газетную шумиху и предпочитала методичный сбор сведений. От Сонечки она получила подробное описание финансовых дел покойного — Сонечка, вращавшаяся в театральных кругах, умела разговорить кого угодно. От Зарубина пришла выписка из банка: Вельяминов-Зернов был богат, очень богат для актёра. Помимо жалованья в Малом театре, он получал доход от имения в Тамбовской губернии и от ценных бумаг, унаследованных от покойного отца. Всё это состояние после его смерти должно было перейти к единственному сыну — Николаю.

Если только покойный не изменил завещание.

Эта мысль засела в голове Аглаи Матвеевны, и она решила нанести ещё один визит в дом у Пресненских прудов.

На этот раз дверь открыл он сам. Николай Александрович Вельяминов-Зернов оказался молодым человеком двадцати лет, высоким, сутуловатым, с тёмными волосами, зачёсанными на косой пробор. Одет он был в поношенный сюртук, из которого давно вырос, и держался скованно, будто стеснялся собственного роста. Черты лица у него были тонкие, почти девичьи, но глаза — серые, холодные, отцовские — смотрели на гостью с плохо скрытой враждебностью.

— Вы та самая дама, что допрашивала мать? — спросил он вместо приветствия.

— Я не допрашивала, — спокойно ответила Аглая Матвеевна. — Я беседовала. Ваша матушка была очень любезна.

— Моя матушка слишком добра к чужим. Проходите.

В доме было холодно — печь топили не каждый день, экономили. Аглая Матвеевна прошла в гостиную и села на тот же стул, что и в прошлый раз. Пианино стояло у стены, и на пюпитре лежали те же ноты — «Лунная соната». Рядом с нотами она заметила стопку испитой бумаги. Нотная запись. Мелкая, торопливая.

— Вы сочиняете музыку? — спросила она.

Николай дёрнул плечом.

— Пытаюсь. Это никому не интересно.

— Мне интересно. Можно взглянуть?

Он поколебался, потом кивнул. Аглая Матвеевна подошла к пианино и перебрала листки. Ноты были написаны уверенной рукой, но с какими-то нервными срывами — петельки то закручивались в сложные завитки, то обрывались резкой чертой. На полях — заметки: «не то», «громче», «сначала».

— Это соната, — сказала она. — Для фортепиано.

— Для фортепиано и виолончели. Но виолончелиста у меня нет. — Он помолчал. — И фортепиано скоро не будет. Мы продаём его.

— Из-за денег?

Николай резко повернулся.

— Мать вам рассказала?

— Она ничего не говорила о деньгах. Это я догадалась. — Аглая Матвеевна села. — Ваш отец хорошо зарабатывал. Но вам, насколько я понимаю, ничего не доставалось.

— Нам ничего не было нужно от него, — отрезал Николай. — Мы прожили без него двадцать лет. Проживём и дальше.

— Однако он ваш отец. И вы его единственный наследник.

Николай усмехнулся — горько, не по-юношески.

— Наследник? Вы не знаете моего отца. Он собирался лишить меня наследства. Переписать всё на неё.

— На Элен?

— На кого же ещё. Она — жена. А я — ошибка молодости. Он так и сказал матери, когда она просила помочь с моим обучением: «Твой сын — ошибка. Я не плачу за ошибки».

Аглая Матвеевна помолчала, давая ему время успокоиться.

— Откуда вы знаете, что он собирался лишить вас наследства?

— От нотариуса. — Николай сел на стул напротив и опустил голову. — Месяц назад я получил письмо. Не от отца — от его нотариуса, Дубянского. Он писал, что Александр Ильич намерен изменить завещание и что мне следует «быть готовым». Я не понял, что это значит. Пошёл к нему. Дубянский сказал, что отец поручил ему составить новое завещание, по которому всё состояние переходит к Элен. Мне — ничего. Даже имения. Даже дома.

— И вы?

— Я ничего не сделал. — Николай поднял глаза, и в них была ненависть. — Я хотел пойти к нему. Сказать, что я о нём думаю. Но мать не пустила. Сказала: «Не унижайся. Он этого и ждёт». Я послушался. И вот он мёртв.

— Удобно.

Николай вскочил.

— Вы думаете, это я убил? Да, я ненавидел его! Да, я рад, что он мёртв! Но я не убивал. Я был дома. Всю ночь играл. Соседи слышали.

— Я знаю. Ваша матушка сказала. — Аглая Матвеевна не повысила голоса. — Я не обвиняю вас, Николай Александрович. Я просто собираю факты. И факт таков: у вашего отца были враги. Много врагов. И каждый из них мог подсыпать яд в белила. Вы — один из многих.

Николай медленно опустился на стул. Плечи его опустились.

— Что вы хотите от меня?

— Я хочу, чтобы вы сыграли. — Аглая Матвеевна кивнула на пианино. — То, что играли в ту ночь.

Он долго смотрел на неё, потом встал, подошёл к инструменту и сел. Руки его легли на клавиши. И зазвучала музыка.

«Лунная соната» Бетховена — первая часть, та самая, которую играют на похоронах. Медленная, скорбная, завораживающая. Николай играл с закрытыми глазами, и пальцы его двигались без нот — он знал каждую ноту наизусть. Аглая Матвеевна слушала. Что-то в этой музыке было не так. Она не могла понять, что именно, но чувствовала: какая-то фальшь, какое-то несоответствие.

И вдруг поняла. Он играл не сонату. Он играл что-то другое, вплетённое в бетховенские аккорды. Свою музыку. Свою боль.

Когда он закончил, в комнате стало тихо. Только часы на каминной полке отбивали секунды.

— Вы талантливы, — сказала Аглая Матвеевна. — Очень талантливы. Ваш отец был дураком, что не ценил этого.

Николай не обернулся. Плечи его вздрагивали.

— Он никогда не слышал моей музыки. Никогда.

Аглая Матвеевна встала. Она подошла к пианино и тихо положила руку на край клавиатуры.

— Я найду того, кто убил вашего отца. Не ради него. Ради вас и вашей матери. Чтобы вы могли жить дальше. Без ненависти.

Она вышла, не прощаясь. У двери её догнала Аделаида.

— Вы верите ему? — спросила она с тревогой.

— Я верю музыке, — ответила Аглая Матвеевна. — Человек, который так играет, не мог убить. У него другая душа.

— Спасибо.

— Не благодарите. Я ещё ничего не доказала.

Вечером она сидела у себя в гостиной, перебирая записи. Глафира внесла самовар и устроилась на стуле у двери.

— Ну что, барыня, сын?

— Сын не убивал. Он слишком погружён в себя. Но у него есть мотив — наследство. И у него нет алиби, кроме музыки. Соседи могли не слышать, когда он перестал играть. Они могли заснуть.

— Значит, подозреваемых всё ещё пятеро?

— Шестеро, — поправила Аглая Матвеевна. — Три жены, сын, любовница, Ленский. И ещё тот, о ком мы пока не знаем.

— Кто?

— Тот, кто заходил в гримёрку после костюмерши. Костюмерша сказала: «Больше никто не заходил». Но флакон, который я нашла, лежал под столиком. Она бы заметила его, если бы он был там раньше. Значит, он появился позже. Значит, кто-то заходил после неё.

— Но кто?

— Вот это я и хочу узнать завтра. — Аглая Матвеевна встала и подошла к окну. За окном падал редкий снег. — Я поговорю с нотариусом. А потом — снова с костюмершей. И на этот раз она скажет мне правду.

Глафира перекрестилась.

— Дай-то Бог.

— Не Бог, Глаша. Просто я умею ждать. А правда не любит, когда её долго прячут.

Она задула свечу и осталась сидеть в темноте. Перед ней стояло лицо Николая — замкнутое, угрюмое, с отцовскими глазами. Он ненавидел отца. Он боялся огласки. У него был мотив. Но руки его, когда он играл «Лунную сонату», были руками музыканта, а не убийцы.

И всё же Аглая Матвеевна знала: музыканты тоже убивают. Особенно те, кто любит тишину.

Глава пятая

Утро после визита к Николаю Аглая Матвеевна провела за своим бюро. Перед ней лежал сафьяновый блокнот, исписанный мелким почерком, и пять листков с именами подозреваемых. Она перебирала их, как карты в пасьянсе, и пасьянс пока не складывался.

Аделаида — мотив есть, алиби нет. Марья — мотив есть, алиби нет. Элен — мотив есть, алиби нет. Сын — мотив есть, алиби шаткое. Ленский, Варя, Сабуров — она ещё даже не принималась за них всерьёз.

Нужны были свежие сведения. Нужен был человек внутри театра.

— Глаша, — позвала она, и горничная явилась почти мгновенно, будто ждала за дверью. — У меня для тебя поручение.

— В театр? — Глафира прищурилась. — Я так и знала. Я уже и фартук приготовила.

— Какой фартук?

— Белый. Кружевной. Костюмерши в таких ходят. Я в прошлый раз заметила.

Аглая Матвеевна усмехнулась.

— Ты становишься опасной, Глаша. Ещё немного — и я отправлю тебя на курсы сыщиков.

— Лучше на курсы костюмерш. Там сплетен больше.

Через час Глафира, она же Пелагея Трифионовна Сытиха, вдова рыбного торговца, переступила порог служебного входа Малого театра. Вид у неё был самый благочестивый: тёмное платье, белый передник, волосы убраны под наколку. В руках — корзинка с пирожками для Глафиры Ильиничны.

Старая костюмерша приняла её радушно.

— А, Пелагея Трифионовна! Проходи, голубушка. У меня как раз руки не доходят. Тут после премьеры всё вверх дном, да ещё эти допросы... Садись, чайку попьём.

И они попили. И поговорили. А потом Глафира, засучив рукава, принялась за работу — подшивала, чистила, гладила, а заодно слушала и запоминала.

Вернулась она в Сытинский тупик уже затемно. Аглая Матвеевна, сидевшая у окна с вязанием, сразу поняла: улов богатый.

— Барыня! — выпалила Глафира, стаскивая платок. — Я такое узнала, такое! Вы только садьте. То есть вы и так сидите. Тогда я тоже сяду.

Она рухнула на стул, обмахиваясь концом платка, и перевела дух. Аглая Матвеевна отложила спицы.

— Начни с Вари.

— С Вари? — Глафира оживилась. — Эта Варя — просто порох. Сидит у зеркала, ревёт в три ручья, а Глафира Ильинична ей валерьянку капает. Я спрашиваю: «Что с ней?» А костюмерша шепчет: «Роль уплыла». Оказывается, Вельяминов-Зернов обещал ей Марью Антоновну в «Ревизоре». Главную женскую роль. Варя уже и монологи выучила, и костюм заказала, и всем знакомым похвасталась. А накануне премьеры он ей сказал: «Извини, душа моя, я передумал. Ты слишком молода. Роль отдам Марье».

— Марье? — переспросила Аглая Матвеевна. — Второй жене?

— Именно! Представляете? Бросил жену, ушёл к француженке, а теперь роль отдаёт бывшей. Варя говорит, он так всегда делал — приближал, отдалял, снова приближал. Играл людьми, как марионетками. Она его любила, а он её использовал. Она бы его, говорит, своими руками задушила. Но мышьяк — это не её. Она крыс боится.

— Значит, у Вари был мотив. Обида. Обманутая любовь. И возможность — она была за кулисами, могла зайти в гримёрку. Но крыс боится — это интересно. А что Ленский?

— Ленский злой, как цепной пёс, — продолжала Глафира. — Ходит по коридору, курит, на всех огрызается. Я к нему подошла, спросила, не нужно ли чего починить из костюма. Он на меня так глянул — думала, укусит. А потом разговорился. Оказывается, он пять лет играл любовников и вторых героев, пока Вельяминов-Зернов был звездой. Пять лет! И в «Горе от ума» он Молчалин — бессловесная тень. А Чацкий — Вельяминов-Зернов. А в «Ревизоре» Вельяминов-Зернов обещал ему Хлестакова, но потом передумал — решил сам играть. Хотя уже возраст не тот, для Хлестакова-то.

— И Ленский ненавидел его?

— Ненавидел. Так и сказал: «Если бы не Саша, я бы давно был первым». Я спрашиваю: «А теперь, когда Саши нет, вы станете первым?» Он замолчал, погасил папиросу и говорит: «Не таким путём я хотел стать первым». И ушёл. Но глаза у него были... нехорошие.

— Зависть, — констатировала Аглая Матвеевна. — Профессиональная ревность. И возможность — он был за кулисами, его видели на служебном крыльце в антракте. Но видели ли его до конца антракта?

— Вот и я о том же! Сторож говорит, Ленский курил, а потом ушёл. Куда ушёл — не видел. Может, в гримёрку. Может, ещё куда.

— А Сабуров? — спросила Аглая Матвеевна. — Что говорят о нём?

— Ох, барыня, тут такая интрига, что ваш покойный Паук позавидовал бы! — Глафира подалась вперёд и понизила голос. — Сабуров-то, оказывается, смерть Сашина — хуже пожара. Он теперь локти кусает.

— Отчего же? — Аглая Матвеевна отложила спицы. — Ведь контракт с неудобным актёром закрыт.

— Да, но какой ценой! — Глафира всплеснула руками. — Во-первых, сезон сорван. Премьера, на которую он угрожал кучу денег, обернулась скандалом. Билеты сдают, публика шархается, газеты пишут не про пьесу, а про убийство. Во-вторых, Вельяминов-Зернов был главной звездой Сабурова. Все лучшие спектакли завязаны на нём. Теперь Сабурову придётся либо срочно искать замену — а где её найти в середине сезона? — либо отменять постановки. И в-третьих...

Она сделала драматическую паузу.

— Что в-третьих?

— В-третьих, Сабуров занял крупную сумму под будущие сборы. А сборов теперь не будет. И кредиторы уже стучатся в дверь. Глафира Ильинична говорит, он бежит по театру и орёт: «Он меня и после смерти разоряет!»

Аглая Матвеевна задумалась. Вот, значит, как. Смерть Вельяминова-Зернова не принесла Сабурову выгоды — напротив, поставила его на грань разорения. Мотив исчезает.

— Выходит, Сабуров не только не выиграл от его смерти, но и проиграл по всем статьям, — подытожила она. — Значит, убийство ему невыгодно. Он, скорее, молился бы о его здоровье.

— Выходит, так, — кивнула Глафира. — Я уж и сама запуталась. У всех мотив! У Вари — любовь, у Ленского — зависть, у трёх жён — месть, у сына — наследство. А у Сабурова, выходит, мотива-то и нет. Только убытки.

— И тем не менее он был за кулисами. Мог зайти в гримёрку. Мог знать привычки. — Аглая Матвеевна поджала губы. — Не будем сбрасывать его со счетов. Но передвинем в конец списка.

— Продолжай. Ты говорила с Глафирой Ильиничной. Что она ещё сказала?

Глафира перевела дух и придвинулась ближе.

— Она сказала странное. Я спросила, не замечала ли она чего необычного в тот вечер. Она помолчала, а потом говорит: «Необычного — нет. Но Элен, третья жена, заходила к Саше перед самым антрактом. Якобы платок забыла. А платка у неё в руках не было».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.